

ТРИ ЭССЕ

ЧИСТЫЙ СМЫСЛ

1

Музыка вначале была связана с болезненностью, и нынче, представая в усилия сознания в очищенном смысле, — таковой и остается.

Сильные впечатления от музыки выражались физиологически, причем с жестокостью, начиная даже с самого первого — вполне еще косвенного.

Мне лет восемь, и вместе с отцом я прибыл в детскую музыкальную школу на вступительный экзамен в класс виолончели. Не помню, как именно я держал этот экзамен, зато вижу и сейчас: в комиссии находилась прекрасная юная особа, в малиновой газовой кофточке, с янтарной брошью на умопомрачительной груди, от которой невозможно было оторвать взгляд. Брошь изнутри высвечивала немного преломленную набок пчелу, возраст которой — я уже знал тогда — составлял несколько миллионов лет. В финале моего предствояния перед комиссией моя Дама милостиво кивнула председателю: «Беру».

На обратном пути я только и думал об этой фее — и неотрывно думал, когда после, схватив клюшку, коньки, мчался на каток, и после катка, когда долго ждал автобуса — и думал, заболевая. Тогда я простудился так, что на следующий день по достижении температуры в сорок один градус меня увезла «неотложка», — и далее на несколько дней я теряю сознание. Помню только, как пчела, медленно поводя крылышками в густом медовом свете, мерцала передо мной, и помню, как дрожало, как дышало за ней матовое стекло «неотложки», как шаркали по нему — как по льду и звенели коньки, как серели по краям сознания сугробы и где-то в области висков, в хоккейной «коробочке» с частотой пульса раздавались щелчки и удары буллитов...

2

Несколько вещей вызывали у меня в детстве пронзительную бессонницу. «Крейцерова соната» в исполнении Натана Мильштейна производила мучительные физиологические резонансы, ведшие вразнос, в воронку мозжечка. Не помню, какая скрипичная соната Виталий, взмывшая под смычком Зино Франческатти, представляла собой могучую слезогонку: вся скорбь мира, абсолютно вся, без остатка разливалась в душе. «Sing, sing, sing» Бенни Гудмена, «April in Paris» Эллы Фитцджеральд, написанный Владимиром Дукельским, кстати, приятелем Поплавского — все это составляло предмет сладостных мук. По достижении половозрелого возраста, когда случалось весь день проходить в перпендикулярном состоянии, я точно знал, какие именно джазовые вещи могут запросто вызвать стойку — и старался их избегать. Колтрейн и Кэннонбол Эдерли были первыми в череде запретов.

Послабление наступило гораздо позже, с открытием вселенной Малера, когда в Третьей симфонии Джесси Норманн заставила меня услышать ангелов и умереть наяву.

3

Когда я прочитал у Романа Якобсона, что все его попытки навести структуралистские мосты к семиотическому подходу в музыке потерпели неудачу, я ничуть не удивился. Потому что у меня давно сквозила наивная, но правдивая идея, что музыка — едва ли не единственный язык, чьи атомы, лексемы либо совсем не обладают означущим, либо «граница» между ним и означаемым настолько призрачна, что в результате мы слышим не «знаковую речь», с помощью которой сознание само должно ухитриться восстановить эмоциональную и смысловую нагрузку сообщения, — а слышим мы собственно у ж е то, что «речь» эта только должна была до нас донести, минуя этот автоматический процесс усилия воссоздания. То есть слышим мы ч и с т ы й с м ы с л.

4

К виолончели я так никогда и не прикоснулся, зато позже у меня появился учитель фортепиано. Обрусевший армянин, выговором и дикцией ужасно походивший на Каспарова, он был прекрасным строгим человеком. Я приходил к нему в его собственный дом, с курятником и огородом. Его подслеповатая мама, Софья Тиграновна около года принимала меня за девочку.

У Валерия Андреевича в гостиной стоял драгоценный «Стейнвей», неподатливые клавиши которого требовали изощренного подхода к извлечению звука, — и я пылливо следил за пальцами, за постановкой руки учителя. Когда мне удавалось присутствовать на его собственных экзерсисах («Шопен, никоим образом не показывавший кулака...»), — я замирал всем существом, нутром понимая, что это одно из самых мощных творческих действий, которые мне когда-либо придется увидеть в своей жизни.

Я бросил занятия музыкой, когда — хоть и на толику — но самым высшим образом приблизился к пониманию природы музыки. Как и все сильные чувства, это мгновение было бессловесным. Я разучивал фрагменты фортепианного концерта Баха («композитора композиторов», как говорил о нем В.А.), я впал в медитацию, провалился, и тут у меня под пальцами произошло нечто, проскочила какая-то искрящаяся глубинная нить, нотная строка, в короткой вспышке которой разверзлась бездна. И вот это смешанное чувство стыда от происшедшего грубого прикосновения к сакральной части мира — и восторженные слезы случайного открытия, — все это и поставило для меня точку.

Больше В.А. я не видел. Родителям объяснил, что надоело. Конечно, так поступают только особенно сумасшедшие мальчики (или девочки). И так поступил я, к тому же еще не раз с оторопью представлявший себя, купающегося пальцами во всех сокровищах мирах.

22 октября, 2005

ГУШ-МУЛЛА*

I

Зоология как форма мизантропии есть наука поэтическая, а орнитология — вдвойне, поскольку имеет дело с невидимыми голосами, недоступными гнездовьями и неизведанными маршрутами.

В Астраханском заповеднике обитает 317 видов птиц, и первая публикация Велимира Хлебникова была посвящена описанию позывных их певчего подмножества. Нет задачи более сложной для слуха и голоса, чем транскрибирование птичьего пения. Хлебников был математически точен в своей зауми, организуя ее не в качестве «сыр-щир-бала» (таково, увы, мнение большинства), а как певучую сверхреальную алгебру, настолько же мощно, насколько и малодоступно, подобно моделям современной теоретической физики, раскрывающую полноту мироздания. Я был потрясен, когда снежной зимой в лесу услышал трель большой синицы — зинзивера: «Пинь-пинь-пинь!» — не зазвенело, а именно тарарахнуло, разорвало воздух над головой.

Сама по себе задача из фонетической пластики вылепить формы птичьих голосов по высоте не сравнима с задачей глоссологической какофонии, наобум извлекающей на слух из эмпирии сомнительные смыслы.

И потому неверно так понимать звукомыслы Хлебникова, которые не имеют никакого отношения к произволу, а есть высокоточное транскрибирование певческой мысли, истории, драмы, — в ходе которого раз за разом совершается попытка раскрытия главной тайны языка: идентификации медиума между смыслом, порождаемом при выражении сознания — и звукоформой слова, развивающей этот смысл в сознании воспринимающем.

II

Я же начал с яйца — и тут же продолжил убийцей. В небольшом сарайчике, под двумя жердями, в пыльных травяных потемках, пронизанных спицами света, нашарил в соломе яйцо. Впервые я был потрясен мирозданием. Самозарождение этого яйца — солнечно теплое, драгоценно дышащее всей своей новорожденной поверхностью — казалось необъяснимым.

Я застыл. Колесо небосвода поворачивало спицы.

* Священник птиц (тюрк.)

– А в старое время кур носили резать в синагогу. Еще моя мать носила, – сказала бабушка и зажмурилась. Я тоже зажмурился – и опустил топор.

Дальше я вижу окровавленное лицо бабушки, ее слетевшую медную прядь, медленно она подносит запястье к щеке, моргает, – и взгляд несется за пронзительно безголосым черным петухом, пылящим по двору зигзагом, его башка – с бешеным глазом, орущим клювом, алым гребнем, держась на коже, метет между мелькающих шпор, ее отдавливают лапки раскорякой, петух спотыкается об голову и затихает долго, ритмом конвульсий постепенно сравниваясь с остывающим пульсом. Кровь толчками заворачивается в пыль.

Потом были воровбы, которых мы на время уловляли при помощи пяти кирпичей, согнутого гвоздя и корки хлеба, теплые, упруго толкающиеся в ладони пушинки; птенчик, свалившийся из гнезда, – его Вагиф ногтем избавил от кошки; два птенца трясогозки, подсаженные в пустой скворечник на уходящем в лазурь стволе березы; ворона, у помойки напавшая на женщину с мусорным ведром – визг и вопли, взлетающее ведро, кульбиты птицы, кувыкания, наскоки, потом долго еще сидела на тополе и харкала, мы швыряли в нее камнями; потом был ворон Сокол из юннатского уголка, скрипя, вышаркивавший позывные: «Будь готов! Всегда готов!»; была гоньба почтарей с голубятен – стайка блесток, свист и хлопок; были жаренные сизари за гаражами – гриляндой на вертеле, угощенье, есть не стал, – и после битвы: «Пески» стенкой на «Гигант», с огвозденным колем, одного убили, положили на рельсы, Москва – Казань, ростовский «скорый», левостороннее полотно – еще до Витте строили англичане, – ходили с родственниками всем двором собирать фрагменты тела, растащенного по шпалам километра на три – «скорым» поездам, как сердцу, останавливаться запрещено, – быстро бежали вперед, находя группы ворон и галок, отгоняли: части хирургическим зажимом складывались в мешок из-под суперфосфатных удобрений.

И как отец, вернувшись из заплыва – на Каспии он всегда любил вспомнить телом молодость, например, уплыть часа на три за горизонт, оказывается, чайки пикируют на уставших пловцов, расклеивают безглазое тело, – оно покоится на дышащем утреннем штиле, огромное солнце всходит. И были попугаи в больничном холле, и тоска, и хрипы в левом легком, и приближающееся шелканье какой-то бусинки в мамином ортопедическом каблуке, благодаря которому устремлялись слезы избавления, а потом попугаи вылетели стайей, шныряли «мессерами» с карнизов, медсестры ловили, обнажая под халатиками купальные полоски.

Вечность спустя жили долго в Измайлово, где на рассвете будили вороны под окнами – и лежать без сна, особенно с богатырского похмелья – ой, ты, ворон, что ж ты вьешься; в Измайлово наряду с воронами был волнистый враг Кики, обгрызавший углы и корешки книг, обои, косяки, смертельно кусавший за палец, месяцами обитал вне клетки, перед поездкой в Крым едва донес его до зоомагазина, вместе с клетью, бесплатно – хотел подозвать кошку, открыть ей дверцу.

И был сон, где птица Рух из-за гор с тайной книгой в когтях, и однажды на волжском степном острове подбирал и складывал между страниц цветастые, серые, пестрые перышки – фазаны, сойки, вьюрки, дупеля, коростели прошивали пушечным пролетом высокие дурманные травы – и вдруг поднял голову: внезапно вверху лавиной струнулось большое движение воздуха, – да, сперва я услышал звук, высокое движение, свист и шорох перьев: белоголовый орлан, застив взгляд по нисходящей, спланировал к реке, тяжело коснулся, задумчиво, как перо в чернильнице, погрузил плюсну в речную воду и, с подмахом оторвавшись, порожняком ушел за тот берег, за сбитые ограды левады, сарай, обрушенный коровник.

III

Мой первый – и долго-долго единственный рассказ, написанный на коленке – на скамье Страстного бульвара 13 лет назад, был утерян тут же, в течение часа. Рассказ этот был птичий – и вспорхнул он из рук именно по этой причине. Тогда на углу Петровки вместо «Американ-бара» зияло замызанное кафе, в котором мои друзья повадились назначать «стрелки», и где кофе с гвоздикой обычно шел два к одному с «Солнечным брягом». За коим я и встал в очередь, держа в руках исписанные листки, все еще что-то высматривая в каракулях. Вдруг сзади хлопнула дверь и раздалось тонкое, неземное позвякивание. Оглянувшись, я обнаружил длинноволосого человека, задрапированного с ног до головы кружевной замшей, с медными колокольцами на обшлагах и куриной лапкой, свисающей вместе с пучком разноцветных перьев с пояса. Вскоре этот человек, поглядывая по сторонам, дзенькнув чашкой с кофе, подсел ко мне за столик. Я рассматривал его замысловатое обмундирование, все изощренное подвесками, косичками, разно-

цветьем фенечек, ксивника, крупной гальки с дыркой, оплетенной полосками кожи и висевшей у него вроде брегета. Внезапно он спросил:

- Ты пишешь?
- Ага.
- О чем?
- Об истории одной курицы.
- А ты знаешь, что курица – священная птица?
- Нет.
- Вот это – «куриный бог», – он ткнул в камень с дыркой, – древнеславянский амулет.
- Круто.
- Дай посмотреть, – он кивнул на листки.
- Не дам.

Колокольчик звякнул. Он повернулся к окну и скоро пересел за освободившийся столик.

Пришел мой приятель. Оставив под его присмотром свой рюкзак – на стуле и листы с рассказом – под стаканом, я метнулся за угол в соседнюю рюмочную, – там был туалет.

Вернувшись, обнаружил, что народу в кафе несметно прибавилось, что мой приятель болтает с кем-то в очереди за выпивкой и что столик наш занят. Я обрадовался сохранности рюкзака, однако листков с рассказом не обнаружил – и сколько ни кружил, заглядывая под столы, распрашивая публику, уборщицу, сидельца за прилавком, заглядывая в посудный задник, – все было тщетно. Наконец, я догадался вспомнить этого чудного чувака с куриным оберегом.

– Легко пришло, легко ушло, – утешил я себя и более рассказов не писал лет десять.

А рассказ тот в самом деле был птичий, о курице. Ее звали Ольга, а имя ей дал человек с необычной фамилией – Ваш. Будучи одиноким пенсионером, он однажды рассеянно упокоил купленные яйца – вместо ячеек холодильной полки – на ячейках отопительной батареи. Была весна и топили уже не сильно, так что девять яиц, не сварившись, протухли, а из десятого выпулся птенчик, озаривший своим пухом и писком одиночество старика. Так родилась пеструшка Ольга, которую Ваш, закупаясь на «Птичке», выкармливал канареечной коноплей – и дважды в день гулял с ней в палисаднике на поводке за лапку. Но вот Ваш умирает, и соседи вместе с участковым вскрывают топорами квартиру. Тело Ваша обнаруживают в постели, старик умер во сне, на его веках серебряные николаевские рубли, которые он прикладывал на ночь от конъюнктивита. Ольга расхаживает по одеялу, кудахча, и время от времени клюет монеты. Вскоре дальние родственники Ваша прибирают к рукам квартиру, а Ольгу отвозят в выходные на дачу, где частникам задарма отдают на птичий двор. Не оказавшись несущкой, Ольга обречена – при попытке ее уловить и зарезать, она увертывается, бежит, взлетает – и длинными мерными взмахами отмеряет расстоянье до реки, леса, горизонта, солнца.

2005, июль

МАРШРУТ. ДВИЖЕНИЕ СТЕКЛА

Благодаря недоразвитости вестибулярной машинки, в детстве автобус был сродни мученической карусели – “катать” = “пытать” – хоть раз да блевану за поездку в припасенный, как носовой платок, фунтик, без которого, как без билета, и не садился; особенно осенью по школьному пути на укропно-морковно-капустные поля Подмоскovie, под девичий вой “Вот поворо-от, что он нам несё-ё-т”, – ясно, что: обморочный приступ стыда и рвоты маячил, надкусывая мозжечок на пробу на каждой гребенке ухабов, на каждом вихляющем заносе расхлябанного в трансмиссии “скотовоза”. (О, эти японские календари на заднем стекле кабинки водилы, толстенная оплетка на штурвале, овальные сводилки с югославскими красотками на приборной панели, выпела и поролоновые лоскуты, увешанные значками ГТО, ДОСААФа, столиц и юбилеев – густо, как латная грудь генсека орденами.)

Понятно, разные бывают маршруты. Например, в 157-м (МГУ – Кунцево) я был ограблен комсомольскими шакалами, ревизовавшими на предмет наличия билетов пассажиров. Бил им морду, был взят под уздцы задумчивым ментом, который отпустил меня только, когда по дороге якобы в отделение досказал мне, что на Плющихе в детстве переманивал с голубятен на Девичьем поле почтарей, за что едва не сгорел заживо вместе с покражей в своей надгаражной клетушке: пытался спасти уже занявшееся пернатое добро – жар-птицы бились, падали, опалили волосы,

руки, лицо. А в 665-м, где-то около Полежаевской, куда попал, спасшись через Москва-реку на случайной барже от афганских овчарок, набросившихся в Филёвском парке, узрел, как пьяная баба на соседнем сиденье родила зверушку; лил дождь, баба голосила, водила давил гашетку в "скорую".

Но самое видение в автобусе приключилось семь лет назад, в маршруте Шереметьево – Речной, почему-то по дороге из Калифорнии, откуда прилетел на похороны.

Была слякоть, мерзли промокшие ноги, таксисты на остановке, облепив, как цыгане, бубнили: "Бля буду, не уедешь".

На автозаправке, за стеклом, двое в черных куртках били ногами верткого человека.

Наконец человек встал, отпал в сторону и закурил в кулак. Куртки сели в машину, врубили дальний свет, но ни с места.

Автобус тронулся, и я подумал, что начинаю чересчур пристально относиться к происходящему.

Далее я еще осудил себя за пристальность и, чтобы как-то поправиться, решил для начала навсегда поселиться здесь, в автобусе. Тут же в салоне, как в театре, объемом налился сумрак, пошел снег, а я оказался снаружи. Прильнув к стеклу и сложив ладони окошечком, я принялся внимательно разглядывать, что происходит внутри. Вижу, как дети возвращаются с горки, которую за пеленой крупнозернистого снежного праха и набегающих сумерек можно принять за склон неба. Укатавшись за день, они устало тащат за собою санки. Долгий караван уже наскучившего детства. Первые останавливаются у самого окна, остальные еще подтягиваются. Дети чем-то опечалены, у них суровые лица. Я удивляюсь: как странно, ведь они целый день – так что дух захватывало – катались среди белого и голубого. Тихо и ровно идет снег. Вдруг замечаю: на санках лежит голая Оленька Светлова. Дети тоже ее заметили и спрятали от неожиданности глаза. Я не спрятал, я продолжал смотреть на зябнущую Оленьку. Обняв себя за плечи, она улыбалась. Соски жалобно выглядывали из-под локтей. Видимо, ей было очень неловко. Казалось, взглядом она просила сочувствия к ее положению. Потом дети привыкли и стали сыпать на нее из сугроба охапки снега. Спасаясь, Оленька превращается в куклу, в которую влюбляется мальчик, на чьих санках она путешествовала. В этом мальчике я узнаю себя. У меня сжимается сердце. Темнеет, и мне видно все хуже. Я прижимаюсь плотнее к стеклу и вдруг замечаю, что автобус убыстряет ход. Я трачу усилие, чтобы поспеть за движением. Мальчик берет Олю на руки, прижимает к себе... Потом я вижу уютную жаркую комнату, квадрат стола, покрытый упругой белой скатертью, на нем стакан горячего молока, в который кладут с ножа кусочек сливочного масла. Тая, масло плывет дрожащим желтком в ярком тумане. За столом сидит голая Оленька и мажет мне медом хлеб. Я медленно и вкусно съедаю бутерброд, запивая молоком. Она подходит вплотную, дает свою небольшую грудь. Я беру ее голубоватыми от молока губами. Потом она гладит меня по голове, помогает с узким горлом свитера, расстегивает, снимает рубашку, припав на одно колено, стягивает с меня мокрые от снега штаны и помогает залезть на стул, откуда я, обняв за шею, перебираюсь к ней – на закорки. Оборачиваюсь: молоко не допито, его поверхность подернулась морщинистой желтой пенкой.

Она уносит его из комнаты. Стакан, постояв, вдруг начинает бешено вращаться. Центробежная сила упруго раздирает пленку пенки, воронка на молочной поверхности углубляется до самого доньшка. Вздыбившееся молоко вырывается наружу, заливая потоками комнату, попадает на стекло. Я перестаю видеть из-за потеков – и оказываюсь внутри.

На следующей остановке входят два одинаковых типа с красными повязками на рукавах кожаных курток. Но до меня очередь не доходит. Впереди на перекрестке у попутного троллейбуса слетает с высоковольтной колеи усик пантографа, шест пружинит дугою в полнеба, обратно, искрит, осаживая отмашкой предползущий транспорт. Некоторые остаются ждать возобновления движения, но большинство выходит, им уже недалеко. Я выхожу последним из большинства, поскольку какое-то время еще надеюсь навсегда остаться в автобусе.

2003, октябрь